Так что же так разозлило, разъярило, разобидело эту девочку? Студенточку. Ей, наверное, не больше девятнадцати-двадцати. Тройка, которую она закатала в зачетку? Вряд ли. Это могло быть лишь последней каплей. Сорвалась девочка на истерику. И в коридоре, куда вывела ее подруга, всхлипывала: «Вы, все вы виноваты...»

Что имела в виду? Ее лично или поколение, к которому она принадлежит? По возрасту она годится в бабки этому ребенку — втрое старше. Что же заставило девчушку так зло ее виноватить?

Она помнит себя лет с трех. Отец и мать худенькие-худенькие. У них не телосложение, а теловычитание. Они живут вчетвером: отец, мама, она и Устя. Устя — девочка из деревни. Два столовских обеда делят на троих. Ей, Майечке, варят манную кашу из торгсиновской крупы — вот куда ушли мамины колечко и брошка. Пол-литра молока покупают на базаре через день. Кашу выскребывают до самой последней капельки. От обеда ей тоже кое-что достается, поэтому она вполне упитанна. А вот отец с мамой — теловычитание...

Их огромный дом — в центре Казани. Бывшая фешенебельная купеческая гостиница. Внизу магазины и кинотеатр «Пионер». Очень интересно, когда с мамой или Устей они прогуливаются во внутреннем дворике. Здесь красивый светильник: бронзовая женщина держит за руку младенца. Резкий свет приглушен стеклянной крышей. В витринах замечатель-

ные вещи — духи, пудра, зубные щетки. Купить — нет денег, но посмотреть можно.

Их комната — длинный пенал. Все говорят, темная. Окно выходит во двор-колодец. Но если перегнуться через подоконник и как следует крикнуть, эхо тут же возвращается. Когда Устя и мама не видят, они с Гогой — соседом и ровесником — так и делают: перегибаются и орут. Орут что есть мочи.

Конец тридцать шестого года. Усти больше нет. Устя живет теперь в общежитии при меховой фабрике. Папа устроил ее работать. Сам преподает фабричным рабфаковцам химию и физику. Устя приходит к ним лишь по воскресеньям — веселая, нарядная. Мама говорит, у нее появился жених. А она, Майечка, теперь детсадовская. В их огромном коридоре — от стены до стены десять шагов — дети делятся на домашних и детсадовских. У домашних, как у Гоги, есть бабушка и прочая родня. У детсадовских — только мать и отец или одна мать. Но зимними вечерами они, детсадовские, показывают в коридоре такие вещи, какие и не снились домашним. Они маршируют и строят пирамиды, а песни, что передают по радио, знают все. Она крепкая, здоровая, рослая. Глаза синие, блестящие. Светло-русые волосы вьются.

Мама — историк. Окончила историко-филологический факультет университета, и ей очень легко даются языки. Диплом писала о Шигабутдине Марджани. Две толстые книги татарского просветителя, что лежат на мамином столе, ей, Майе, честно говоря, не очень интересны, а вот то, что делается в Восточном клубе, — занимает. В клубе играют спектакли — взрослые и детские. Если на татарском, мама переводит. Иногда они задерживаются в клубе допоздна, и тогда папа заходит за ними. Меховая фабрика, где он преподает на рабфаке, находится недалеко.

Спектакли в клубе бывают веселые и грустные. От этого зависит и их с мамой настроение. Если спектакль веселый, папа просит пересказать, если грустный — сам рассказывает всякие смешные истории, которые приключаются с его взрослыми учениками.

Папа преподает на рабфаке потому, что ему интересно с молодыми, а еще потому, что не хватает денег. Как и мама, окончил университет, а перед этим были революция и Гражданская война. Папа родом из Виленской губернии. Он поляк. Их, поляков, много жило в этом крае, но какое значение имеет национальность, если нет денег учиться, если ходишь с заплатами на коленях, если есть хочется постоянно, а хлеб — с выдачи... Над твоими заплатами смеются два соседских парня. Они тоже поляки, но у них есть отец, и он держит лавку. А твой — погиб в девятьсот пятом. Зарубили казаки, когда с такими же поляками шел просить у царя свободы и равенства. А потому в октябре семнадцатого, когда приходит весть, что в России отныне вся власть будет принадлежать Советам, а в них будут управлять честные, благородные, совестливые люди, только и пекущиеся о благе народа, как же не поверить в светлое будущее, тем более если тебе всего шестнадцать?..

Ну а потом — комсомольская ячейка, весной девятнадцатого призыв: все на Восточный фронт, на борьбу с Колчаком. В двадцатом — тиф, да такой, что два месяца между жизнью и смертью. В результате — волжский университетский город и два страстных желания: жить и учиться.

Папа способный, поэтому академик Александр Ермингельдович пригласил его преподавать на химико-технологическую кафедру института, что отпочковался от университета. Коллектив у них хороший, молодой, дружный. Вот только один — Москаленко — вечно чем-то недоволен. Всех и все критикует, а сам от работы отлынивает.

У мамы на работе люди вообще замечательные. Мама говорит, такой большой научной библиотеки во всем Союзе нет. Конечно, московская и ленинградская больше, но и их библиотека занимает одно из первых мест. Мама изучает творчество Марджани — ученого, писателя, просветителя. Он стоял за раскрепощение умов от всяких ненужных догм, за сближение культур — восточной, западной, русской. Особенно интересно маме, как воздействовала восточная культура на западную, в частности, на французскую. Поэтому мама выучила еще и французский язык. Читает свободно, а в разговоре упражняться не с кем.

Год тридцать седьмой. Все у них хорошо. Все трудятся: папа в институте и на рабфаке, мама в библиотеке, Майечка в детском саду. У всех свои успехи. Поэтому когда однажды на партийном собрании Москаленко вдруг встает и говорит, что надо внимательно присмотреться к работе Ждановича, то есть папы, все удивлены, даже поражены. Жданович — трудяга. И голова у него ясная. Но Москаленко не унимается: важно идеологическое нутро человека. А тут у Ждановича не все в порядке. Взять хотя бы Софью Львовну, его жену. Связалась с татарскими националистами. Изучает творчество какого-то муллы — представителя культа. О том, что Марджани основал при мечети медресе, в котором учились будущие татарские революционеры, Москаленко почему-то умалчивает. Не заикается он и о том, что образование всей татарской интеллигенции до

революции так или иначе было связано с деятельностью священнослужителей, и в этом нет ничего плохого. И Насыри, и Бичурин, и Щапов — все учились или преподавали в духовной семинарии. Разве образованность их стала от этого меньше? И вообще собравшимся не очень ясно, почему они на своем партийном собрании должны обсуждать деятельность Софьи Львовны Жданович, работающей совсем в другом учреждении и беспартийной.

Но Москаленко не унимается. Он снова берет слово и говорит, что, по русской пословице, муж и жена — одна сатана. Что в деятельности Софьи Львовны Жданович он ясно видит националистические тенденции. Непонятно, как русская женщина могла подпасть под националистические идеи, хотя кое-что ясно: Владислав Иванович Жданович тоже ведь не русский. Поляк...

Почему папина национальность и мамино изучение творчества татарского просветителя объединяются в одно, представляется всем смутно, но все становится ясным, когда буквально через несколько дней Москаленко переходит на работу в другой дом. Дом, что стоит на Черном озере. Дом, что зовется НКВД.

Октябрь тридцать седьмого. В конце месяца папа не возвращается с работы. Мама плачет всю ночь, а наутро бежит в папин институт. На кафедру ее не пускают. Велят идти в отдел кадров. Там говорят: папу вчера арестовали.

Она помнит, как они с мамой идут в большой серый дом на Черном озере. Она не выпускает маминой руки ни на минуту. И в кабинет к следователю входят вместе. Лицо у следователя не злое. Он тихо говорит маме, что им нужно немедленно уехать. Уехать, пропасть, затеряться. Лучше в Сибирь или в Северный Казахстан. Говорит тихо, едва слышно. И они, в одну ночь собравшись, бросив все, никому не сказав ни слова, уезжают в никуда, в полную неизвестность, потому что страшней тюрьмы ничего на свете нет.

Конечно, в первые семь месяцев, пока работы нет, натерпелись здорово. Продали все, что взяли с собой. Только к папиному узлу не притронулись. Мама сказала: если развяжут — папа не вернется. Сберегли и пальто, и костюм, и белье. Так что было во что переодеться, когда приехал он из лагеря. Завшивленный, в ватной телогрейке, в буденовке. Почему в буденовке, непонятно. Он не говорил, они не допытывались.

Отца отпустили на «вольное» поселение. Это не так часто бывало и говорило о том, что, как ни «скребли», много не «наскребли». Да и что, что можно было «наскрести», когда человек весь, от макушки до пяток, предан раз и навсегда выбранной идее — равенства, братства, справедливости...

Отец вернулся перед самой войной. Она тут же высветила, кто есть кто. Если главный инженер промкомбината, где работал теперь доцент Жданович пимокатом, испугался фронта до дурноты, до поноса, то отец пошел в военкомат двадцать третьего, на второй день, хотя военного билета не имел — спецпоселенец. А военком еще и посмеялся: такие там не нужны...

От обиды, а главное, от понимания, как необходимо то, что он делает, сутками не выходил с комбината или неделями пропадал в аулах и селах, выколачивая сырье — шерсть.

Много лет спустя, длинными бессонными ночами анализируя свою и родительскую жизнь, она старалась докопаться до одного: какая сатанинская сила всем этим руководила? Зачем нужно было испозорить жизнь двух молодых людей, ее родителей, которые могли бы сделать столько полезного? Которые, как в дурном сне, вдруг превратились во врагов народа, хотя сами были этим народом. Которых следовало презирать, бояться, а лучше всего — уничтожить...

Ни тогда, ни теперь не было у нее ответа, кроме одного: зависть, стремление встать над себе подобными.

Мама была, видно, хорошим специалистом, потому что уроки ее любили не только дети. Приходили послушать и коллеги-учителя, особенно им нравились рассказы из древней и средней истории. В старших классах, цитируя запрещенного Достоевского, утверждала: настоящий русский человек всегда сочувствует всему человеческому вне различия нации, крови, почвы, допуская разумность во всем, в чем есть хоть сколько-то общечеловеческого интереса. Не всем это нравилось. Некоторые с ехидцей замечали: «Не учит вас жизнь, Софья Львовна, не учит...»

Ах, мама-мамочка... Мечтательница и утопистка, свято верящая только в доброе человеческое начало. Особенно дорога она стала ей, когда родился Фелик. Страшные морозы зимы сорок второго. И бураны тоже. Чтобы выйти из дому, нужно откопаться. В ночь на пятнадцатое февраля проснулись они от маминых стонов. Куда везти? На чем? Бежать за врачом — часа полтора пройдет.

Отец только поначалу растерялся. Потом командовать начал быстро, четко: растопи плиту, вытащи все чистое. Он долго и тщательно мыл руки, облил одеколоном.

Она не смотрит на родительскую кровать. Мама изо всех сил сдерживает стоны, но вдруг срывается на крик. Отец уговаривает ее покричать еще — так

легче. Майе кажется, крики длятся вечность. На самом деле, всего полчаса. В три ночи детский писк возвращает из небытия. Она слышит радостный голос отца: «Соня, голубушка, сын...»

Через час кормят маму молочной лапшой, поят чаем из березовых почек. Мама красная, у нее очень блестят глаза.

Двенадцать дней она не отходит от маминой кровати. Спит тут же, на стульях. Никакие уговоры отца не действуют: если она ляжет, мама тут же умрет. Врач приходит каждый день, но только на седьмые сутки лицо его проясняется: ритмы сердца стали лучше. Есть надежда.

Поправляется мама медленно. Молоко от температуры перегорело, но у Рябовых — соседей — корова. Зорька гладкая, чистая, а главное — добрая. Молока дает сейчас мало, но Фелику хватит. Важно его накормить.

В школу Майя возвращается лишь в середине марта, мама — в конце апреля. Она очень слабенькая. Как былиночка. Фелика относят к бабе Вере — тетке Рябовых.

К Фелику Майя еще не привыкла. Ловит себя на нехорошей мысли: из-за этого комочка чуть не умерла мама. Мысль, конечно, подлая. Отец не позволяет маме вставать ночью — все равно грудью не кормит. Сам от бессонных ночей и работы почернел. У мамы одышка, поэтому когда вдвоем они идут в школу, Майя притормаживает: так мама меньше замечает, что задыхается. Майя считает — наступит лето, и мама поправится. Наверное, все пошло бы быстрее, если бы с ними была бабушка. Перед самой войной она умерла — паралич. Маме не позволили поехать хоронить. Соседки в последний путь бабушку провожали...

Нет ничего страшнее лжи, часто говорит мама. Ложь — порождение трусости и тщеславия, злобы и лицемерия. Рано или поздно она все равно выходит наружу. Тогда люди теряют веру. И виноват не тот, кто поверил в ложь: он не знает истины. Виноват тот, чьи слова и поступки заведомо лживы.

Правды и только правды во всем хотела и она, Майя. Во всем, а особенно в отношениях с ним — Шурой. Она точно помнит день, когда начались эти отношения — в январе сорок четвертого. На зимних каникулах. В школе. На вечере. В «ручеек» играли. Он выбирал ее, только ее...

Она хотела правды и только правды. Поэтому так болело сердце, когда чувствовала: он врет, ложь вошла в их дружбу. Разум восставал, осуждал, говорил «брось», а сердце терпело, смирялось. Оно уже любило.

Гете сказал: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой». Разве не шла она на бой с проклятым Пашкой Кутеповым — личностью растленной, хоть и не было ему восемнадцати. Отца у Пашки нет, мать — официантка в вокзальном ресторане. Выпивка и еда даровые. Только Пашку с вина рвет, поэтому вся страсть — в картах. Вот и Шуру одурманил, охмурил. В восьмом классе это было. И водку Шура тогда первый раз попробовал. До сих пор непонятно, как удалось ей вытянуть, вытащить его из этого логова.

А логово — «салон» Идочки Безбородько. «Салон», в котором мальчики становились мужчинами, а у девчонок был один путь — в проститутки. Как стыдно, как гадко было туда идти... Пошла. Пошла и сказала: если сейчас же, немедленно не будет стоять Шурка на крыльце, она разнесет к чертовой матери весь этот проклятый дом. Шума Идка боялась.

Пьяный, высокий, тоненький мальчик в расхристанной рубахе, в плохо застегнутых штанах, с мутными, бессмысленными глазами — таким выдали ей Шурку. Простила. Простила, потому что был он и другим — нежным, умным, книгочеем, с копной темно-русых волос, с большими серо-голубыми глазами, удивленно смотревшими в мир.

Очень холодная зима сорок четвертого. А им с Шурой жарко, хотя на ней — всего лишь телогрейка, на Шуре — короткий тулупчик. Они уходят далеко по озеру, на лыжах. Такие дни удаются редко. Тем счастливей часы. Конечно, они сопляки: Шуре исполнилось четырнадцать только, ей четырнадцать будет в ноябре. Но разве есть для любви возраст? Нет, они еще не целуются. Просто им очень хорошо вдвоем.

Когда поняла, что любит? Наверное, перед десятым. Их разделили по школам. Первая стала мужской, вторая — женской. Отправили в разные колхозы. Тридцать километров, а он — исхитрился, примчался, приехал. Воды нет. Пьют из одной лужи с быками. Жара днем под тридцать. Ночью заморозки. Одежда — та, что на них. Спят в одной большой юрте. Чадит коптилка. Умаялись девчонки за день, а они, прижавшись спинами к юрте, накрывшись невесть где сысканной попоной, смотрят в небо. Огромные горячие звезды падают и падают с вышины. Они летят так долго, что можно успеть загадать. И они загадывают. Загадывают одно: быть вместе. Всегда. Всю жизнь.

Александр Александрович Шалимов, Шурин отец, — импозантный мужчина, как говорит мама. Густая седая шевелюра, осанка. Правда, несколько полноват, и маленькие глазки глубоко посажены, но это все мелочи. Шалимову нет и пятидесяти. Он местный, не сосланный, но не был на фронте. Врач. Хирург. В сорок пятом, после войны, доктор Ша-

лимов станет еще и венерологом, ибо надобность в этом появится большая. Как говорит мама, доктор своего не упустит. Дом — на широкую ногу. В летние дни из открытых шалимовских окон слышится хозяйский бас: «Люди гибнут за металл...» После войны, пересмотрев свои жизненные позиции, доктор Шалимов вступает в партию, становится заведующим облздравотделом.

Лидию Андреевну, Шурину маму, Майя знает плохо. Видела только на улице. Дома у Шуры никогда не была. Ходить в гости к парням не принято. Однако успела разглядеть, что худа Лидия Андреевна и согнута. Такие же, как у Шуры, большие серо-голубые глаза, но во всем облике — тоска и смирение. Говорят, Александр Александрович не оставляет без внимания ни одной медицинской сестры, с которыми работает. Из-за девчонок-двойняшек, а главное, из-за любимого сыночка ушла Лидия Андреевна на домашнее хозяйство, хотя была хорошей акушеркой. Но дети ни в чем не должны знать отказа: еда — свежая, постель — мягкая, платья и рубашки — чистые. И муж, и девчонки, и Шурочка принимают все как должное. Планы у родителей большие: сын — профессор юриспруденции.

Как все-таки она его ждала!
Она не знала раньше, что в разлуке
Так глупо могут опускаться руки,
Так разом опостылеть все дела...

Тогда, в сорок восьмом, у нее и правда опустились руки. Они с Шурой поехали на учебу в разные города. «Через год, если поймете, что не можете друг без друга, один из вас переведется», — говорила мама. Ах, мама-мамочка... Лукавила, милая. Знала, точно знала: не допустит доктор Шалимов, чтобы сынок, единственный, женился на дочке сосланного.

И его, Шурочкины, письма были вначале тревожные — большой город, много соблазнов, совратят Майю разные франты и пижоны. Но она в ответ с чистой совестью: нет, нет, нет. Он, только он...

Страдать по-настоящему начала ближе к декабрю: письма Шурины стали реже. Правда, прислал две фотокарточки. На одной внимательно изучает какой-то опус, на другой — две красивые девушки тесно прижались к студенту. И папироска у Шуры в руке. Значит, начал курить.

Неудержимо тянуло ее с кем-то поделиться. Но кому, кому расскажешь, что отец твой — лишенец, а любимого отняли, оторвали, разлучили. Она сильно похудела, осунулась, стала необщительной. Ребята — почти все фронтовики — вначале настойчиво приглашали, потом отступились: обиделись.

Училась с каким-то остервенением: есть только наука, только химия. Остервенение принесло плоды. На семинарах и коллоквиумах была первой. Начали завидовать. Она еще больше отдалилась, обособилась, замкнулась. В душе тоска. Понимала: упряма, самолюбива, но человек без самолюбия казался тряпкой. Тряпкой быть не хотела.

Четверо суток в поезде с двумя пересадками — как один день. Казахстан. Зимние каникулы. Январь сорок девятого. Как хочется побыть с мамой, обо всем поговорить. Поезд замедляет ход. Вот и они, ее любимые. Мама в каракулевой серой шапочке, отец почему-то с портфелем. Она идет к полке, чтобы взять чемодан, но чья-то рука уже перехватила ручку. Она не успевает подумать. Шура, Шурочка стоит перед ней... Когда успел впрыгнуть в вагон? Как могла его не увидеть? Он без шапки, хотя мороз. Глаза блестят. Ясные, горячие, любящие...

Разлучались только, чтобы поспать. Все дни — у Майи или на улице. Морозы несильные. Тихо. Солнечно. Нельзя, не нужно ждать второго курса. Все ясно: они не могут друг без друга. Они должны быть вместе. Она говорит все это маме, и тогда, как кошмар, как обухом: «Шалимов пойдет на все...» Все — это, значит, сделает так, что Майю больше не выпустят учиться.

По ночам не спится. Все становится выпуклым, отчетливым, видимым. Наверно, Шалимова можно понять. Он хочет сыну счастья. Такого, как сам его понимает: блестящая карьера, престиж, деньги. У Ждановичей понятия другие — правда, долг, честь. Проклятыми лицемерами называет мама тех, кто говорит одно, а делает другое. Интересно, сотрудники МГБ, к которым каждые десять дней они с отцом ходят на отметку, и правда считают их врагами? Тогда почему выпустили ее — дочь врагов народа? А Сталин? Он тоже так думает? Он знает обо всем? Если знает, почему не разберется? Разве делали и делают мать и отец что-то такое, что наносит вред государству? Они видят многие недостатки и говорят об этом. Значит, лучше видеть и молчать? Кому лучше? Государству? Ложь лучше правды? Мысли лезут и лезут. Утром она вялая.

Все, что на душе, не обязательно кому-то выкладывать. Есть бумага, есть тетрадь в сером клеенчатом переплете. Здесь можно говорить обо всем. Почерк у нее мелкий, убористый, как у отца.

Не приехал, не явился Шурочка домой на летние каникулы. Запретил Шалимов сыну приезжать. Боится. Отправил куда-то. Если говорить честно, девчонок ей видеть не хочется. Все знают об их отношениях с Шурой. Поэтому вместе

они только с Зоей, Зойкой, с которой за одной партой с шестого класса. С Зойкой, которая заявила своим: «Поеду учиться только туда, куда Майя». С Зойкой, с которой хоть на разных факультетах в университете, но койки в общежитии рядом.

Майя не любит ни Зойкиного отца — замредактора областной газеты, худого, желчного, ни Зойкиной матери — здоровой, зеленоокой, с пышными рыжими волосами. Что-то порочное есть в лице этой женщины. Хотя Майю встречают приветливо, ей неприятно бывать в этом доме. Поэтому пасут они сопливую Ритку-Маргаритку, Зойкину сестренку, и Фелика на озере. Ритка шустрая, уматывает Фелика.

Зоя — прирожденный математик. Не принимает ничего, что не относится к точным наукам. Книг не читает, но слушает охотно, когда Майя рассказывает что-нибудь из прочитанного. Ревнива. Ревновала Майю к Шуре. Что распались их отношения, рада. Говорит, с Шурой они не пара.

Из дома на второй курс уезжают с Зойкой в конце августа. Даже на несколько дней не позволил Шалимов приехать сыну. Собой пожертвовал. Ну а им с Зойкой надо перебраться в то общежитие, что ближе к университету. В их, дальнем, туалет зимой так промерзает, что дерьмо плавает по красному кафельному полу. Только в ботах и можно переплыть.

Переселение удается. Комнаты в общежитии большие. В них — десять кроватей. Здание, конечно, не приспособлено, но все рядом: университет, главпочта, столовая. Очереди в столовку длинные, но иногда они все-таки стоят: хочется горячего. В остальные дни — хлеб с маргарином и два раза в день кипяток из титана. Рынок, разумеется, не по карману.

Зойка, маленькая, тщедушная еще в десятом классе, так развернулась на хлебе и маргарине, что не узнать. Переросла Майю. Глаза из зеленых стали серыми. Темные ресницы опушают их, как бахрома. Волосы пышные, рыжие. Грудь высокая. Ноги длинные. Не девка, а картинка. Зойка чувствует это. Говорит медленно, с растяжкой.

Несчастье — а в том, что это несчастье, Майя уверена, — приходит в ноябре. Напротив университета — Воскресенская церковь. Майя помнит, как еще в тридцать третьем или тридцать четвертом Устя водила ее на службу. Они устраивались где-нибудь в уголке. Устя шептала молитву. Майя молитвы не знала. Она смотрела, как какая-то тетя в черной шляпке и светлом красивом пальто маленьким кружевным платочком вытирает глаза. От платочка пахло духами.

Теперь Воскресенскую церковь ломают. На разборке — все факультеты. На этом месте будут строить новый корпус университета. Место можно найти и без слома церкви. Но церковь ломают...

Анатолий Быстров, так зовут парня с третьего курса филфака, старается занять место всегда рядом с ними. Внимание — только Зойке. Быстров — невысокий, ладный, ловкий. Фронтовик.

После работы втроем они идут в столовку. Поев, Майя жалуется на разболевшуюся голову. Она и правда болит: свежий воздух будоражит, если изо дня в день сидеть в химлаборатории. Зойка с Анатолием, конечно, не возражают — Майе надо лечь, отдохнуть...

Роман развивается с необыкновенной быстротой. Потрясение — впереди. Анатолий женат. У него двое маленьких детей: мальчик и девочка. Он нездешний, из Сибири. На Волгу попал в марте сорок пятого, в госпиталь. Валя, жена, выходила, к себе забрала. Живут в своем доме с Валиной мамой. Он Вале благодарен очень, но любит теперь только ее, Зою. Никогда с ним такого не было...

Это как ураган, как шквал. Ничего Зойка не понимает. К нему, только к нему! Какие дети? При чем дети? Они любят друг друга. В чем дело?

Понимая, что самой не справиться, Майя пишет маме. Письмо сумбурное, лихорадочное. В ответ мама что-то уточняет, спрашивает. Считает, что с матерью Зойки говорить бесполезно. Надо разговаривать с отцом.

Замредактора приезжает немедленно. Жать начинает на Анатолия: старше, прошел войну, а полоумная Зойка ни черта не смыслит. Десять дней живет, но своего добивается. Анатолий перестает искать встреч с Зоей.

Страдания Зойки ужасны. Она почернела так, что только одни безумные глазища и блестят. С Майей не разговаривает. Майю ненавидит. Домой в зимние каникулы они не едут: Майя боится встреч с Шурой, Зойке надо подобрать «хвосты». В первый день четвертого семестра Зойка переезжает снова в дальнее общежитие.

Ругала ли Майя себя, что написала о Зойкиной любви? И да, и нет. Ей было жаль, очень жаль несостоявшегося Зойкиного счастья, но еще больше жалела она Анатолиевых ребятишек, которых осиротила бы Зойка, не моргнув глазом. Не построишь своего счастья на чужих развалинах. Так тогда думала Майя. Так думает и теперь.

В тот день, двадцать седьмого февраля пятидесятого, спать они легли рано — часов в одиннадцать. Стук в дверь раздался, наверное, в час. Почему она первой услыхала? Интуиция? Стук был тихий, осторожный. Она встала, спросила. Приглушенный мужской голос ответил вопросом: «Здесь проживает Майя Владиславовна

Жданович?» Почему назвал ее по отчеству? Она откинула щеколду.

Мужчина был в милицейском. Она испугалась, подумала: что-то страшное случилось там, в Казахстане. Ее начало трясти. Он заметил это. Посоветовал одеться теплее. Сказал, что должна пойти с ним недалеко — в республиканское управление МГБ.

Она даже внимания не обратила: не в милицию, а в МГБ. Одна мысль сверлила мозг: что с мамой, отцом, где Фелик?

Соображать начала только в кабинете следователя. Он так и представился: следователь Нургалеев. Не отец ли той красивой девочки с филфака, что на новогоднем вечере читала горьковскую «Девушку и смерть»? Хорошо читала.

На столе поверх голубой папки — толстая общая тетрадь в серой клеенчатой обложке. Ее тетрадь. Она сразу узнала.

— Зачем вы это сделали? — Голос следователя тихий, вежливый. — Зачем вы это сделали? Зачем вообще нужно было вести дневник?

Она долго не могла понять, что он имеет в виду. Она писала в этой тетради для себя, только для себя. О своем настроении. О любви к Шуре. Кого она обидела?

— Разве можно сомневаться в его политике, в политике партии? — Голос следователя стал резче. — Знает, не знает. Что за гадания? Он знает все. Он — вождь великого государства. Он охраняет чистоту рядов нашей партии. Какие могут быть сомнения?

Теперь до нее дошло. Голос стал еще тише.

— Зачем нужно вести дневник, учитывая положение ваших родителей?

Да, теперь ясно: Зойка выкрала тетрадь и принесла ее сюда. Только она знает, что родители Майи сосланы. При поступлении в университет Майя ничего не написала в анкете — не было прямого вопроса. Были вопросы о заграничных родственниках, о том, был ли кто в плену. Вопроса о репрессии родителей не было.

Нет. Ничего преступного она не сделала. Разве обругала Сталина? Только усомнилась: знает ли он, что делается в стране. Разве предала советскую власть? Разве причинила ей хоть какой-нибудь ущерб? Она думала. И изложила свои мысли в этой тетради. Разве лучше не думать, быть безмозглой? Кому лучше? Государству? Значит, страна дураков?

В камере продержали две ночи. Много народу — только это и запомнила. Отупение, полное отупение. Она не плакала, но ее трясло. Трясло так, что женщина, сидевшая рядом на нарах, укрывала ее все время своим пальто. Но ей было не холодно. Ей было даже жарко. А руки и ноги не могла удержать. Они разбрасывались в разные стороны. Пыталась их пристроить на место, но сила, с которой нельзя было совладать, раскидывала их снова.

На третью ночь они уже ехали в теплушке. Иногда поезд мчался курьерским, иногда стоял часами. Она лежала на соломе с закрытыми глазами. Дрожь утихла, но сон не шел. Женщины разговаривали тихо, устало. Наверное, на четвертые сутки услыхала на какой-то стоянке голоса двух мужчин. Голоса были там, на воле. Мужчины говорили о Кургане, Челябинске. Поняла: едет в сторону дома. И тогда единственная мысль овладела ее сознанием: сообщить, дать знать, выбросить письмо из вагона.

Наверное, все-таки засыпала, потому что очнулась от резкого запаха — запаха степного свежего воздуха. Такой особый степной воздух был только в их городе. Давно это заметила. Поезд стоял. Светало. Выглянув в маленькое зарешеченное окошко, поняла: это их станция.

Какая-то женщина дала ей обложку от тонкой тетради и карандаш. Она написала лишь несколько слов: здорова, не по своей воле куда-то едет. Если разрешат переписку, тут же напишет.

Обложку свернула солдатским треугольником. Теперь его надо было выбросить. Выбросить из вагона, но так, чтобы сразу же кто-нибудь подобрал. Разбить окошко? Тут же услышат охранники. Бросить, когда дверь откроют? Увидят, заберут. Остается одно — дырка. Дырка в углу вагона. Параша.

Ждала долго. Рабочие. Они ходят, стучат по колесам. Только к вечеру услыхала женские голоса и решилась:

— Тетеньки, тетеньки!

Старалась звать как можно тише. Охранники, наверное, где-то здесь, рядом. На третий или четвертый зов, наконец, ответили:

— Чего?

— Я через парашу выброшу письмо. Возьмите. Отошлите по адресу. Марки нет. Пусть идет доплатным.

Не стала отсылать женщина письмо. Сама принесла. Не побоялась. Рабочая, обходчица.

Только через сутки открылась дверь. Хотя составы загородили вокзал, она точно знала: это ее город. Такой воздух только в ее городе. И тут впервые за последние семь дней ее снова начало трясти. Тело ходило ходуном. Конвульсии перекручивали исхудавшие руки и ноги, а женщины держали ее изо всех сил, плача и причитая. Она тоже впервые за все эти дни плакала, уговаривая их не пугаться. Она знала, чувствовала: не умирает. Это скоро пройдет. А проклятые спазмы корчили и корчили, делая беспомощной и жалкой.

В кузове машины, куда загрузили их поверх пшеницы, под

старым теплым тулупом быстро уснула. Женщины потом сказали, что не просыпалась даже при резких толчках. Ехали весь день. К вечеру — районный центр. Никогда не была здесь раньше. Красивое место. Снег прикрывает все изъяны. Деревья — их много — в белом кружеве. Дома на взгорье крепкие, рубленые. Лед на озере — в блестках заходящего солнца.

Их выгружают у большого деревянного пятистенка. Подворье крытое, чистое. Скотину здесь, видно, давно не держат. Велят занести в дом сена. Печь русская истоплена. Чей дом, где хозяева — непонятно. Раздают сухой паек. Поев, снова мгновенно засыпает. Утром женщины едва ее расталкивают. Завтрак королевский: пшенная каша с салом и по кружке крепкого чая. Кто принес, так и не видела.

Только к вечеру прибывают в пункт назначения — заводской поселок. Здесь суждено прожить ей сорок долгих месяцев. Что это будет такой срок, тогда не знала: ни суда, ни приговора не было. Была несвобода, ссылка, конец которой неизвестен. И было чувство: хочу жить, буду бороться, бороться до последнего...

Селение странное. Основанное лет двадцать пять назад, огромным рыжим оврагом делится на две части. Весной овраг похож на кипящий котел, из проточного озера в нем сталкиваются большие грязные льдины. Льдины варятся в этом котле, шипят, переворачиваются. Но паводок кончается, и котел вновь превращается в глубокую яму, по дну которой течет тоненький ручей. Ребятишки на задах по яркой рыжей глине сползают вниз. Здесь глина особенно хороша. Ее добавляют в саман, ею обмазывают печи.

Почта, клуб, общежитие, дома ИТР — почти все из дерева. Жители —полный интернационал: поляки, что в тридцать девятом, после освобождения западной Белоруссии и Украины, не подошли по «кондиции»; немцы с Поволжья, вряд ли ждавшие Гитлера. Их деды и прадеды хорошо уживались с русскими и родину менять не собирались. Чеченцы и ингуши, что умирали сотнями. Сибирь, холод, нет одежды. Остался тот, кто выжил. Естественный отбор. Все вместе эти люди виноваты лишь в том, что принадлежат к какой-то нации. Проклятье это и по сей день. Тогда Сталин, а сейчас иные играли и играют с огнем, натравливая одних на других, вдалбливая в глупые людские головы, что все беды и несчастья от нации.

Улицей широкой, как площадь, заводская часть поделена надвое. Улица не замощена, с глубокими выбоинами. Три полуторки, газик и трактор делают свое дело. Весной и осенью выбоины полны воды. Кроме сапог, ни в чем не пробраться. А сапоги надо еще заиметь. Анелька, полька, что работает с нею, отдала ей свои, старые. Сапоги ничего, но все-таки промокают. Майя стаскивает их тотчас же, как приходит в лабораторию. Здесь у нее «тапочки» — тоже дала Анеля — старые обрезанные валенки.

Конечно, ей здорово повезло. Лаборатория — сердце завода. Именно здесь решаются вопросы качества спирта. От этого зависит оценка работы завода. Даже конторские фифы с ними не лаются. Только у них в лаборатории можно интеллигентно попить чаю, а если занедужил — капнут чего-нибудь покрепче. Все в шкафах под замком, а ключи у одного человека — Георгия Георгиевича Земмера.

Земмер — начальник лаборатории. Невысокий, рыхловатый, он смотрит на Майю ясными голубыми глазами. Белые ресницы длинны, как у девушки. Волосы чуть темнее. Ему нет и пятидесяти, но Майе он кажется пожилым. Чистоплотен до фанатизма. Химпосуда должна блестеть. На ней не должно быть ни пятнышка. Химстол — священное место. Подходить к нему можно лишь в чистом халате. Заплатки разрешаются.

Земмер — немец, сосланный в сорок первом. Бывший завлаб на саратовском номерном заводе. Детей не имеет. Страдал от этого, а теперь даже рад: их бы тоже сослали. Как и Майя, не может понять, как, не инкриминируя ничего, можно лишить человека свободы только за то, что он принадлежит к какой-то национальности. В лаборатории днюет и ночует. Полгода назад умерла его жена. Умерла тихо, спокойно. Вот бы и ему так. Майю учит всему, что знает сам. Оба любят химию. У обоих нет больше ничего.

Писать домой позволено. Она написала уже три письма. Не получила еще ни одного. Может, разрешат приехать маме или отцу — ведь всего семьдесят километров.

Условия в общежитии неважные. Чтобы сварить, надо растопить плиту. Дрова сырые, уголь — крошка. Вечером, когда приходит с завода, долго мучается с печкой.

В заводском магазине, кроме чая, спичек и соли, ничего нет. Да и магазином это не назовешь. Так, ларек. Иногда привозят хлеб. Двести пятьдесят рублей определили Майе за работу. Десять дали авансом.

Никто ни о чем не спрашивает. Женщин, что ехали с нею в вагоне, а потом на машине, распределили по колхозам. Ее одну на завод направили. Наверное, потому, что она химик. Конечно, недоучка, но все-таки химик.

Есть хочется все время. Она худеет и худеет. Хлеб, что удается купить в ларьке, сгорает как в топке. Георгий Георгиевич

все время ей что-нибудь подсовывает — кладет сверток в газете на ее рабочее место. Ей очень стыдно, но отказаться, вернуть — не в силах. Как нищенка...

Март проходит незаметно, а в первых числах апреля — письмо из дома. Пишет мама. Почерк странный, прыгающий. Надо держаться. Все выяснится. Они начали уже хлопотать. Написали куда следует. Майя ни в чем не виновата. Она не совершила никакого преступления. Они постараются приехать к ней при первой же возможности. Они любят и помнят ее...

Она пишет домой почти каждый день. Письма получаются длинные. Она перечитывает их по несколько раз — не дай бог, хоть какой-нибудь намек. Письма проверяют.

Отец приезжает в мае, второго, рано утром. Один. Говорит, мама чувствует себя неважно. Оставил ее с Феликом. Он очень изменился — ее отец. Худой, почерневший. Голос хриплый, срывается. Что-то случилось. Сутки они вместе, у Георгия Георгиевича. Отец как в лихорадке. Что-то случилось...

В полдень, третьего, она его провожает. Навез ей всяких продуктов, два платья, жакет на подкладке. Где такой купили? Туфли, сказал, с оказией пришлет. Так и сказал: пришлет. Почему в единственном числе? Почему мама даже записки не написала?

Она не задает вопросов. Знает, точно знает: что-то случилось. Может, даже непоправимое. Втроем ночью много говорили. Отец не побоялся третьего, откровенен был. Сейчас, после войны, особенно виден разлад между словом и делом. На войну больше не спишешь. Все формулировки, все лозунги от него, от вождя нашего. Он никому не доверяет. Как реализовать на практике свои лозунги, не знает, потому что давно не имеет понятия, как живет народ. Реальная правда потеряна. Все расползается. Все, кто видят правду и не молчат, — враги, кто заведомо лжет — друзья. Кому это надо? Куда идем? Или с ума все сошли?

Что умерла мама, отец написал ей только через месяц. Почему не сказал при встрече? Берег? А может, так самому легче было? Георгию Георгиевичу сказал, а ей нет. Просил подготовить.

А она знала, чувствовала. В подсознании была уж готова. Когда смерть близкого неожиданна, горе фонтаном выплескивается. Когда к горю готовишься, оно не сражает наповал, но берет цепко, забирает, затягивает, не дает забыться ни на минуту.

Она проплакала день только раз. Работала, мыла химпосуду, а слезы текли. Анеля принесла из медпункта валерьянки, но и после снадобья слезы не унялись. Георгий Георгиевич заставил ее пойти к нему домой. Напоил чаем. Уложил. Она провалилась до утра.

Теперь ее постоянно мучили мысли о Фелике. Она забрасывала родных письмами, отвечать на которые у отца не было никакой возможности. Но ноябрьские праздники они встретили вместе. Фелик и отец приехали к ней в поселок. Фелик ласковый, тихий. Жмется все время к отцу. Георгий Георгиевич старается расшевелить, развеселить мальчика.

Думала ли в эти сорок месяцев о Шуре? И да, и нет. То есть, конечно, думала. Но это было так далеко, как будто в иной жизни. Одна, только одна мысль довлела над всем: выстоять, не потерять себя, не замараться. Ужас кончится. Должен кончиться.

Это началось, наверное, в середине июня. Он зашел в лабораторию и сказал: Майя должна явиться к нему в десять вечера. Он — это Лихоткин. Высокий, плечистый мужчина. Сорок — сорок пять ему. Чистый спирт выпивает, не закусывая. Если спирт ничем не закусывать, перегаром не пахнет. Толстые губы определенного очертания не имеют. Он всегда в фуражке. Ни разу с «босой» головой его не видела. Лихоткин — спецкомендант. Помощников у него нет. Каждые десять дней она, Анеля, Георгий Георгиевич и другая такая же шваль приходят сюда, в белый чистый саманный домик, на отметку. В журнале, что подает им Лихоткин, свидетельствуют: не сбежали, не совершили диверсий, не продали советскую власть, не сдохли. Их числа — пятое, пятнадцатое, двадцать пятое. У других, например у Нади-ингушки, — шестое, шестнадцатое, двадцать шестое. Так что работы у Лихоткина хватает: каждый вечер с семи.

К ней, Майе, вопрос у Лихоткина один: что думает она о товарище Сталине. Она отвечает, что думает, конечно, хорошо. Он — вождь, он — учитель, он — друг народа. Без него государство пропадет. Она болтает что-то еще, а глаза коменданта наливаются красной влагой. Кажется, вот-вот взорвется огромная потная плоть. Но проходит минута, другая, и то, что называется Лихоткиным, вдруг начинает сжиматься, тускнеть, становиться вялым. Он произносит что-то невнятное. Майя догадывается: она может идти. Ей не страшно. Ей очень, очень противно...

Ночные вызовы продолжаются все остальные месяцы несвободы. Георгий Георгиевич не отпускает ее одну. Ждет на улице, какая бы ни была погода. О вызовах знают все, понимают: не о лояльности печется проклятый садист. Удовлетворяет так свою похоть. Притронуться к Майе боится. Знает: закричит, заорет, позовет на помощь.

Амнистию Берия объявил после смерти Сталина. Посыпались на волю уголовники. Несколько краж в поселке — проходили

мимо гастролеры. В тот день, третьего июля пятьдесят третьего, Лихоткин вызвал ее на семь вечера. Пошла одна. Не побоялась. Чувствовала, конец мракобесию приходит. Именно так и понимала: мрак, а во мраке — скачущие бесы. Не побоялась. Знала, если что — зубами, ногтями будет драть проклятого. Она сильная, она изловчится.

Лихоткин был выбрит. Лихоткин был вежлив. Так вежлив, что даже обратился к ней на вы. Дал расписаться в какой-то бумаге. Не успела ее рассмотреть. Сказал, может брать расчет и уезжать. Так и сказал.

Она прожила еще десять дней: Георгий Георгиевич серьезно расхворался. Он радовался, очень радовался ее освобождению. Как отец полюбил ее. И она сердцем прикипела. Душа разрывалась: что с ним будет. Но не могла, не могла она ничего сделать: на разрешение ему уехать уйдут месяцы. Да и дадут ли?

Десять дней, сбегая при малейшей возможности с работы, просидела у постели больного. Говорила, как втроем — она, отец, Фелик — приедут его навестить, как начнут немедленно хлопотать о переводе его в город, как подыщут ему подходящую работу...

Сборы были недолги: чемодан да узел с одеялом и зимним пальто. Надя-ингушка (Анеля уехала в пятьдесят втором в Польшу) обещала присматривать за больным. Только ненужным оказалось это. Умер Георгий Георгиевич. Через неделю после ее отъезда умер. Умер как хотел: тихо, во сне.

Десять дней пробыла она дома. Отец работал допоздна. Фелик — тихий, молчаливый, с маминими серыми глазами — приучен к домашним делам. Майе нечего дома засиживаться. Нужно ехать, в университете восстанавливаться.

В деканате встречают настороженно. Зато Борис Александрович — будто и не было этих сорока месяцев. Завкафедрой органической химии заприметил ее еще в первом семестре. Теперь, когда руки ее работают по-настоящему хорошо, ей не стыдно его покровительство. Борис Александрович принес список литературы. Если сможет быстро одолеть, есть надежда наверстать упущенное. Общеобразовательные подгонит по индивидуальному плану, с немецким все в порядке: Земмер и здесь постарался.

Работа не страшит. Работы никогда не боялась. Но как войти в коллектив? Как с людьми нормальными жить? Девчонки молоденькие, фронтовиков всего двое. Надо восстанавливаться в комсомоле. В сорок шестом, когда принимали, никто не заикнулся о ее родителях. Надо написать заявление. А там — что будет.

В октябре Борис Александрович говорит: можно рассчитывать на экстернат. Добиться этого, видно, было ему нелегко. Доверие надо оправдывать.

Работает как одержимая: сон и лаборатория, лаборатория и сон. Диплом защищает весной пятьдесят четвертого. Оканчивает только на год позже тех, с кем начинала. Распределения хорошие: НИИ Москвы, Ленинграда, Харькова. Начинается «большая химия». Официально предлагают аспирантуру.

Двадцать пять лет ей. Нет, она не собирается стать монашкой. Было несколько встреч, не оставивших и следа. О Шуре знает: успешно окончил институт, в аспирантуре. Письмо после шестилетнего перерыва приходит в январе пятьдесят шестого. Из Москвы письмо. Шура на курсах усовершенствования. О себе пишет мало. Зовет встретиться. Как узнал ее адрес — непонятно. Хотя если человеку нужно, всего добьется.

Что такое любовь? Тогда, в те далекие годы, казалось иногда — животный инстинкт. Когда руки его скользили по ее груди, они обжигали обоих. Его взгляд блуждал, он ничего не видел. А она видела. Видела и, ловко извернувшись, выскальзывала. Он трезвел. Тогда ей становилось жаль ушедшего мгновения. Она пробовала вернуть его. Не получалось. Они ссорились. Думала: решись на последнее, разреши все, уйдет то, что называла любовью. А может, вообще нет любви? Все — привычка. Тогда почему так жгут его прикосновения? Почему помнит о них? Она презирала себя, бранила, мысленно говорила ему всякие грубости, но приходил вечер, и она ждала...

Она ревновала. Ей казалось, у него кто-то есть. Но, отрезвев, смеялась: в их маленьком мирке ей тут же стало бы известно. Стыдилась своих мыслей, корила, пыталась прийти к какому-то решению, а мысли снова и снова шли по кругу.

Теперь им было по двадцать пять, и он звал ее. Как чумовая, едва отпросившись у Бориса Александровича, бросилась в Москву. Комната на Большой Ордынке. Она так и не поняла, кто пустил его, кто дал ключ. Через столько лет разлуки они были вместе, они были вдвоем...

Теперь она уже ничего не боялась. Он, только он — ее возлюбленный, ее мужчина, ее муж. Они вспоминали, как когда-то, кокетничая — капризы ее иначе не назовешь, — заставляла его смотреть на себя «влюбленными» глазами. Теперь его глаза неотрывно следовали за ней. Они говорили, вспоминая все самые мельчайшие подробности их прошлой жизни, но останавливались как вкопанные, когда доходили до ее ареста и их теперешнего положения. Она понимала, даже точно

знала: что-то есть, что-то мешает их дальнейшей судьбе, но какое это имело значение? Он позвал ее, он был рядом, он любит...

Она чувствовала, как преображается под его взглядом. Она прикрывала глаза длинными темными ресницами, стараясь не думать ни о чем хотя бы в эти часы. Вволю настрадавшись, знала: у счастья нет завтрашнего дня. У него нет и вчерашнего. У него есть только настоящее — и то не день, а мгновение. Это очень верно у Тургенева...

Изведала, познала она теперь главное в любви — страсть. Нет, это не грязь. И притворяться не нужно. Это огонь. Огонь, очищающий и облагораживающий, делающий душу живой. А Шура пел. Пел только для нее:

И поверь, во вторник или среду —
Точно я и дня не назову —
Прилечу, приду к тебе, приеду
И скажу, целуя наяву...

Только он умел так перебирать струны, только его шелковые темно-русые волосы могли такой огромной копной свешиваться к гитаре, только его голос мог быть таким тихим, нежным и чистым.

Она уехала из Москвы к концу третьих суток. Через месяц, уже из дома, он написал ей, что женат и на днях стал отцом двойняшек.

Теперь усердие ее в работе доходило до самоистязания. Что другое могло спасти? Она защитила диссертацию на год раньше срока. Все вошло в какое-то определенное русло. А душа была пуста. Пуста и озлоблена. Понимала — озлобление диктует самое дурное, но ничего не могла поделать.

Много веков назад Публий Папилий, римский поэт, сказал: богов создал страх. Чтобы покорить людей, сделать из них послушных рабов. Боль, страдания вызываются чем-то реальным. Страх родится при их предвосхищении. Он возникает, когда человек чувствует над собой враждебную силу, которую не может преодолеть, когда не знает, что ждет его впереди. Страх доводит до ужаса, до подавленности, до оцепенения. Страх родит безысходность. Она понимала: все разрушающая машина, созданная Сталиным и именуемая страхом, теперь, после его смерти, только чуть-чуть зашаталась. Боятся все — снизу доверху и сверху донизу. Нет никого, кто бы не боялся. Каждый, хоть сколько-то думающий, знает: завтра и он может попасть под колесо этой машины. Спастись, убежать, спрятаться невозможно. Некуда. Нужно или кончать жизнь, или пытаться находить в этом насилии, угнетении, попрании какие-то островки, за которые можно уцепиться, держаться, не упасть. Таким островком могла быть работа, только работа.

Конец пятидесятых. Она ходит по инстанциям. Надо перевозить отца с Феликом. Но где жить? Долгими, бесконечными очередями выстаивает у дверей приемных. Нужно доказать, что отец жил в этом городе с двадцатого, имел комнату. Наконец — о счастье! Бумага подписана. Освободилась восемнадцатиметровка в бывшем доме Кекина. Так близко от университета. Школа для Фелика тоже рядом. Отцу они найдут работу.

Неуклюжий, эклектичный, их дом, как корабль, разрезает надвое улицу. Четвертый этаж. Окно выходит во двор, на склады магазина. Комната в приличном состоянии. Ремонт нужен небольшой.

Они вместе. Фелику почти четырнадцать. Глазастый, длинный, худенький. К отцу привязан до боли, до слез. Работу отцу находят только в промкомбинате. Конечно, он совсем отстал за эти долгие годы. Забыл, когда открывал книжки по химии. Катать пимы и шить телогрейки можно и без книжек. Все, что когда-то так хорошо начиналось — институт, преподавание на рабфаке, — пошло псу под хвост. Отец никогда об этом не говорит, но молчание многого стоит. Он плохо спит.

«Химиченье» в промкомбинате поставлено на самую широкую ногу. Надо либо вместе со всеми, либо... Поэтому они счастливы, когда через полгода отцу предлагают место мастера в ПТУ. Он будет учить ребят кожевенному делу, технологии кожевенного производства. Училище при промкомбинате.

Только весной семидесятого они получают, как семья реабилитированного, квартиру. Две маленькие несмежные комнатки. Фелик, стройный, красивый, двадцативосьмилетний, как две капли воды похожий на маму, заявляет: подал документы в армию, в кадры. Грамотные авиационные инженеры и там нужны. Она понимает: он делает это потому, что хочет, чтобы она вышла замуж. Считает, что они с отцом «заели» ее молодость, ее личную жизнь. Глупый мальчик. Разве можно «заесть» то, чего нет...

А нет у нее ничего, кроме свидания с Шурой в феврале шестьдесят четвертого. В их городе какое-то юридическое совещание или съезд. Шура живет и работает на Урале. В места их юности не вернулся. Преподает в институте. Доцент. В профессора, как мечтал Шалимов-старший, не вышел. Девочки-двойняшки уже большие, жена учительствует.

На дворе февраль, а она не может пригласить Шуру домой: отец ненавидел Шалимова-старшего, не жалует и Шалимова-младшего: считает виновником Майиного одиночества. Остается одно: две серии какого-то фильма в теплом ки-

нозале, потом кафе до момента, когда уборщица спрашивает, не собираются ли они тут заночевать, потом улицы — улицы города, ее родного города...

Она показывает ему дом, где родилась, и вспоминает, как с мальчиком ее детства Гогой удирали на Черное озеро. Заглядывают в каждый уголок университетского двора, где два корпуса увешаны мемориальными досками в честь самых знаменитых химиков. Спускаются вниз, к озеру Кабан, и идут к мечети Марджани — самой старой и красивой. В темноте ночи смотрят вверх, на пустую площадку, с которой муэдзин созывает верующих на молитву. И тогда, неожиданно для Шуры и для себя, она спрашивает, что сказал бы он, о чем поведал бы миру, если бы Аллах вознес его сюда, на эту высоту.

Лицо Шуры становится неузнаваемым. Она видит его глаза, наполняющиеся слезами, его дрожащие губы. Он плачет. Плачет навзрыд. И успокаивается только тогда, когда она начинает гладить его лицо, греть в руках его холодные пальцы.

Да, у него есть все: работа, жена, дети. У него нет одного — любви. И если бы Аллах вознес его на муэдзинову площадку, он сказал бы только одно: как горько, как страшно, как безысходно, когда предаешь любовь...

Господи! Столько лет прошло, а она все помнит. Все до мелочей. Так за что же вчера виноватила ее эта девочка?

Что сделала она в жизни такого, за что можно так упрекать? Может, за отца, который шестнадцатилетним юнцом пошел защищать революцию? Так он же поверил. Всем сердцем поверил, что будет строить справедливую жизнь — разумную, достойную. Верили старики в светлое будущее. Верили. Ждали его. Надеялись.

А они? Ее поколение? Ни во что уже не верили. Но руки на собраниях тянули. Тянули и врали. Значит, есть девочке за что ее виноватить...

А потому остается одно — попросить, как попросила когда-то Анна Андреевна Ахматова в Фонтанном доме:

Ты все равно придешь — зачем же не теперь?
Я жду тебя — мне очень трудно.
Я потушила свет и отворила дверь
Тебе, такой простой и чудной.

г. Москва